

Евгений Замятин Рассказ о самом главном

Мир: куст сирени – вечный, огромный, необъятный. В этом мире я: желто-розовый червь *Rhopalocera* с рогом на хвосте. Сегодня мне умереть в куколку, тело изорвано болью, выгнуто мостом – тугим, вздрагивающим. И если бы я умел кричать – если бы я умел! – все услышали бы. Я – нем.

Еще мир: зеркало реки, прозрачный – из железа и синего неба – мост, туго выгнувший спину; выстрелы, облака. По ту сторону моста – орловские, советские мужики в глиняных рубахах; по эту сторону – неприятель: пестрые келбуйские мужики. И это я – орловский и келбуйский, я – стреляю в себя, задыхаясь, мчусь через мост, с моста падаю вниз – руки крыльями – кричу...

И еще мир. Земля – с сиренью, океанами, *Rhopalocera*, облаками, выстрелами, неподвижно мчащаяся в синь земля, а навстречу ей, из бесконечностей, мчится еще невидимая, темная звезда. Там, на звезде – чуть освещенные красным развалины стен, галерей, машин, три замерзших – тесно друг к другу – трупа, мое голое ледяное тело. И самое главное: чтобы скорее – удар о Землю, грохот, чтобы все это сожглось дотла вместе со мной, и дотла все стены и машины на Земле, и в багровом пламени – новые, огненные я, и потом в белом теплом тумане – еще новые, цветоподобные, тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы – ...

Над Землею – мыслями – облака. Одни – в выси, радостные, легкие, сквозь розовеющие, как летнее девичье платье; другие – внизу, тяжелые, медленные, литые, синие. От них тень быстрым, темным крылом – по воде, по глиняным рубахам, по лицам, по листьям. В тени – отчаянней мечется *Rhopalocera* головой вправо и влево, и в тени чаще стрельба: солнце не мешает, удобнее целиться.

Миры пересеклись, и червь *Rhopalocera* вошел в мир Куковерова, Тали, мой, ваш – на Духов день (25 мая) в келбуйском лесу. Там – поляна, до краев налитая крепчайшим, зеленым, процеженным сквозь листья солнечным соком; посреди поляны огромный сиреневый куст, ветви согнуты тяжестью цветов; и под кустом, по пояс в земле – каменная баба с желтой тысячелетней улыбкой. Сюда придут сейчас к Куковерову пятеро келбуйских мужиков, чтобы сказать ему, когда они начинают: послезавтра, завтра, может быть – даже сегодня. Но пока еще пять минут Тале и Куковерову быть здесь вдвоем.

У Куковерова нет спичек, и он ловит солнце лупой – закурить. Молча растет на папироске седой, чуть курчавый пепел, и как пепел – у Куковерова волосы, а под пеплом...

Чтобы не смотреть на нестерпимые эти изгибы в уголках Талиных губ, Куковеров смотрит на каменную бабу. Но там – тоже губы, улыбка – тысячелетняя. И он опять поворачивается к Тале:

– Вот – когда-то эти губы мазали человечьей кровью. В такой же день.

– А вы все, теперь, разве не мажете?

– Да. Но не только чужой – и своей тоже, своей кровью. И знаете – может быть...

И в себе – очень тихо: что, может быть, это случится уже завтра, послезавтра, и надо скорее взять как можно больше неба, и вот этот куст сирени, и роющего лапками в цветах шмеля, и еще – еще одно...

Пальцы у него чуть дрожат (один палец – прокуренный, желтый от табаку), с папиросы сваливается седой, чуть курчавый пепел.

– Вам, Таля, восемнадцать лет, а мне... Это, может быть, смешно, что я... ведь я вас знаю всего неделю. А впрочем... Вам никогда не приходило в голову, что теперь Земля вертится в сто раз быстрее, и все часы – и всё в сто раз, и только поэтому никто не замечает? И вот, понимаете, какой-то один день – или минута... Да, довольно минуты, чтобы вдруг понять, что другой человек для вас...

Густые, пригнутые вниз тяжестью цветов сиреневые ветки. Под ними – вышитая кое-где

солнцем тень – в тени – Таля. Ее густые, пригнутые вниз тяжестью каких-то цветов, ресницы.

У Куковерова уже нет слов, и неизвестно почему – нужно согнуть, сломать сиреневую ветку. Ветка вздрагивает – и вниз летит желто-шелковый *Rhopalocera* прямо на Талины колени, в теплую ложбину ее пропитанного солнцем и теплом платья. Там свивается мучительно-тугим кольцом – и если бы, если бы крикнуть, что ведь завтра – надо умереть!

Куковеров молчит. Таля:

– Ну, что же вы? Дальше! Ну?

Согнутые тяжестью цветов ресницы; одна какая-то точка в уголку ее губ. Спичек нет. Куковеров зажигает папиросу лупой, пальцы дрожат, дрожит нестерпимая для глаза точка сгущенного солнца. И – да, это именно так: уголок губ – там, как сквозь лупу, вся она, все ее девичье, женское – то самое, что...

– Дальше? Вы хотите, чтобы я сказал, что дальше?

Голос – не куковеровский, темный, из-под наваленного вороха. Таля поднимает ресницы, и вот захваченное врасплох его лицо, синие – настезь, вслух обо всем – глаза, пропаханные тюрьмою морщины, волосы как пепел, палец желтый от табаку.

Это – миг. И Таля – снова у себя в тени ресниц, сирени, нагибается, нагибается еще ниже, тихонько поглаживает шелковую спинку *Rhopalocera* и говорит ему одно какое-то слово, неслышно.

Но Куковерову кажется, что он услышал – и у него вдруг так больно толкнулось сердце, будто там не сердце, а живой ребенок. И когда Куковеров вслух вдохнул в себя лес, небо, шмеля, солнце: «Хорошо... все-таки!» – Таля понимает, что он понял, и тоже как живой ребенок – в ней сердце.

А наверх, Куковерову – слова, потому что сейчас нельзя молчать:

– Я их очень... Я, когда была маленькая – выводила из них бабочек. Одна вывелась у нас зимой, на Рождество, окна – во льду, летала – летала...

Куковеров – тихо:

– Вот и я тоже...

Но что «тоже» – это никогда не будет сказано: к каменной бабе, к богу, некогда вскормленному человеческой кровью, подходят по-медвежьи – на босых пятках – пятеро. Таля быстро поднимается из тени (ресниц, сирени), идет через солнце – в белом, сквозь розовеющем платье, уносит с собою отпечатанные где-то в глубине куковеровские глаза и на ладони *Rhopalocera*, которому завтра умереть.

Пятеро мужиков – один лешачьего, сосенного росту, голова как на шесте – вваливаются все разом в еще распахнутого настезь Куковерова и в ответ ему («Ну, как же решили, ребята?») – все разом:

– Готово! Председатель Филимошка – уж под замком, на съезжей. Хватит, побаловали советские!

Это – зажжен фитиль, и бежит искра к пороховой бочке: может быть, фитиль длиною в часы, может быть – в дни, но с каждой минутой все ближе искра – и вот грохнет полымем, дымом, кусками человеческих сердец, моего сердца.

* * *

И в тот же Духов день – в городе, где белая, не оседающая пыль, камень, жестяные облака, железные красные с золотыми буквами вывески и железные люди. Там, на краю, на горбатой улице куры щиплют пахнущую редькой веничную траву – куры, взьерошенные и изъеденные вшами, как люди. И там за голубыми некогда ставнями заткнуты березки – вчера, на Троицу, перед обедней, заткнула мать Дорды. От ее старинного шелкового шашмура на голове, от ее грибного старушечьего запаха, от березок с свернувшимися на солнце в трубочку листьями – внутри у Дорды что-то полощется секунду, как на ветру спаленный солнцем березовый лист. Но только – секунду.

Вынул из кобуры револьвер, и сам – револьвер, в черной, кожаной – или даже, может

быть, металлической кобуре, заряженные глаза. Он говорит матери, вкладывая патроны в обойму:

– Что, опять в церковь ходила? Эх, старая! А туда же: «Я все понимаю, я – я...»

– А что же, милый: с Христом все трудящие были – пастухи, волхвы и ангелы. Да. Против этого не скажешь.

– Как, как – трудящие... ангелы?

Сквозь железные фланцы трубы вдруг прорвет вода, брызнет вверх, в стороны, радуются ребята: так сейчас из Дорды – смех, и никак не попадает патрон в обойму. Но торопятся взрослые отогнать ребят и скорее заткнуть воду, и вот уже Дорда снова в кобуре – кожаной или, может быть, металлической, патрон щелкнул и стал на место.

Мать – с сердцем:

– Ты это что в праздник-то взгойчился? Куда заряжаешься?

– А в Келбуе мужики бунтуют, вот куда. Побаловали, хватит!

Под шашмуrom – морщины. Коричневые губы чуть заметно шевелятся – берестой на огне, но вслух нельзя, и только подолом кофты вытерты нос, глаза. И глазами – материнскими глазами всего его запомнить, уложить в себя его темную, стриженую голову, вот эту жилку на виске – чтобы в тот день, когда принесут его – ...

Губы у него сжаты (сейчас, всегда), вход замурован, выбелен: стена. Вдруг странно открывается рот, не там, где казалось, а гораздо выше – верхняя губа очень короткая. И слова:

– Ты бы лучше чего в дорогу мне собрала, чем так-то.

Согнувшись, она шмыгает, чуть шаркают стоптанные башмаки. В тишине я слышу... вы знаете этот смешной человеческий звук – носом, когда нельзя, чтоб было видно, когда слезы нужно глотать?

И может быть, прав Куковеров – все мчится в сто раз торопливей, проходит минута, не больше – и вот уже Дорда лежит в окопе. В окопе – влажная глина, под локтем у Дорды ямка, заряженными глазами сквозь бинокль он смотрит на мост, на келбуйские избы (ставни у них тоже голубые). В синем воздухе – «фииеааоу» – свист, пение, падает – глохнет – бульк: пуля. Все ниже в синем небе ястреб, и вот уже видно: на безруких плечах вправо и влево ворочается острая голова с нацеленными глазами. Глаза нацелены на Дорду, на орловских – сердитых, добродушных, мохнатых, как шмели, – на мясо: там, позади окопа, лежит один – только сейчас был я, а теперь – просто мясо, и породистые, зелено-бронзовые мухи ползают по руке, по глазам, сосут в уголку губ.

И около Дорды – рябой, животом на глине, добродушно щелкая затвором, ворчит:

– Рази это война? На войне, бывало, кэ-эк хлобыстнет – голова костромская, кишки новгородские – разбирай... Вот это вот так! А это рази война?

Глиняная рубаха у него застегнута неверно – одна петля пропущена, – и сквозь видна желтая с шмелиным волосом грудь. И может быть – он, может быть – другой такой же, говорит медленно, прожевывая ржаной кус:

– Я тут в прошлом годе менял: за фунт гвоздей два петуха, вот это вот так! Товарищ Дорда, хлеба не хошь?

Но Дорда не слышит: стал на колени, слушает свое сердце – раз, два и три – как звон часов ночью, в бессонницу. Откуда-то: «С Христом все трудящие, пастухи, волхвы и ангелы» – черный шелковый шашмур. И Дорда командует резко, револьверно:

– Ну – через мост! По одному бе-го-о-ом... а!

В синем воздухе: фииеааоу – и коршун. Я, каждый я, знаю: это мне – коршун, мухи, мучительно-тугим кольцом сгибается тело. Потом вместо я – мы, и у всех нас одно, самое главное, единственное в жизни: чтобы через мост – и согнуть, сломать тех – прочь с дороги, с земли – чтобы не мешали. Чему? Да счастьем, конечно.

Где-то в коршуньей выси между землею и небом – мост к счастью, доски и рельсы, Дорда, глиняные рубахи. Сквозь железные кружева – секундные куски сини, желтых соломенных крыш, серой речной ряби внизу. И последнее: а ведь падать отсюда вниз – высоко, долго, без конца лететь.

Дорда еще не знает, еще две-три минуты не будет знать, упадет он или нет. А на темной звезде уже знают: сегодня – последнее.

Там ночь. На Земле – день, а там на звезде – ночь, в черном небе – две огромных, зеленовато-ледяных луны над пустынями и скалами, от скал – синие зубчатые тени. Тысячелетняя тишина, луны все выше, и вот внизу уже тускло поблескивает стекло стен, галерей, лестниц, куполов, зал – все зеленоватое, прозрачное – из замороженного света двух лун. Тишина.

Лунный свет все ярче, и как во сне, когда все сразу – вырезанно, мгновенно, четко – как во сне видно: четверо. У колонны один... нет: одна, высокая, неподвижно, мраморно ждет; только что поднята плита – еще покачивается цепь над люком, и двое лежат на полу, вцепившись в края люка так, что побелели ногти; в стороне стоит мальчик – глубокие слепые впадины глаз, слушающая голова – набок, по-птичьи.

И сквозь стиснутые зубы – трудный шепот, но каждое слово отчетливо – как во сне, когда я живу внутри, в каждом.

Шепот у колонны (женщина, высокая, сдвинуты брови, глубокая расселина между бровей):

– Ну, что же – теперь поверили мне?

Шепот над люком (двое, мужчина и другая женщина, губы дрожат):

– Да... (громче, отчаянно): Нет! Последняя? Нет!

Последняя бутыль воздуха. Здесь, на звезде, воздуха уже давно нет, он – как драгоценнейшее голубое вино – в стеклянных бутылках, веками. И вот последняя бутылка, и четверо последних – племя, нация, народ. Одна, высокая – она стоит сейчас у колонны, и у ней сдвинуты болью брови – когда-то была мать всем троим. Когда это было – сто или тысячу кругов назад – это все равно: теперь – последний круг, и мужчина уже не сын ей, а муж, и другая женщина – не дочь, а другая женщина.

Ярче ледяной свет, и сейчас во всем мире только одно: поднятая вверх рука и чуть поблескивающая голубая бутылка, пальцы сжимают ее так, что побелели ногти... не пролить ни одной капли, каждая капля – минута моей жизни, я – мужчина, я – силен, мне – жить. Вытянув шею, мальчик щупает пустоту, спотыкается, вцепился мне в руку... прочь, урод!

Но там, у колонны, сдвинуты брови, оттуда – один удар глазами – как плетью, мужчина, спрятавшись в исподлобье, дает глотнуть слепому. Потом – три, с закрытыми глазами, запрокинутых головы – впивают, впитывают, дышат, и розовеют мраморы, звенят сердца – жить! жить!

Без одежд – как статуи. У одной женщины, младшей, когда она пьет, под мышкой видны расплавленные медные волосы. Быть может, случайно мужчина прикасается плечом к ее плечу – нет, не случайно: это уже было и раньше, но теперь, когда все равно и ничего не страшно, – теперь он прижимается крепче, еще крепче – и из тела в тело улыбка, улыбаются плечи, колени, бедра, груди, губы, и нет завтра, ничего нет – только сейчас.

Старшая, Мать – смотрит; все темнее, все глубже у ней расселина между бровей. Подошла, в ладонях сжимает лицо его, мужа, насильно входит в его глаза – по скользким ступеням вниз, на самое дно. Там, на дне, она видит...

Пусть: только в последний раз впитать в себя это лицо, стиснуть так, чтобы на розовом – белые следы пальцев. И потом ее слова – обыкновенные, простые, но каждое нужно вырвать из себя с мясом:

– Я... я останусь здесь. Вы вдвоем принесете воды. Идите.

Ушли. Она стоит у колонны, одна, мраморная, мрамор от ног подымается все выше. Закрытыми глазами она видит то, что теперь происходит внизу, где колодец. Там чаши поставлены на пол, мужчина касается рукой чуть жестких медных волос женщины, проводит по ее груди, по коленям – на одном колене у нее маленький белый шрам: ты помнишь? – ты упала, была кровь... ты хочешь – сейчас?

Лунный полдень. Тяжелые ледяные глыбы света. Мальчик неподвижно, по-птичьи,

слепыми глазами смотрит вверх, зовет Мать: воды! Но она не слышит, потому что дверь открылась – и входят те двое. У женщины – губы влажны, на одном колене белый шрам, и выше, на ноге – красная полоса: след крови. Они без одежд, как статуи, все голо, просто, последние.

Взявши за руку слепого, Мать медленно ступает – им навстречу, медленная, мраморная, как судьба:

– Теперь – пора. За мной, не отставайте.

– Куда?

– Я знаю. Там, в нижних залах, мы еще найдем немного, чтобы дышать. И там...

– Что – там?

Молчит. По лицу у ней – облака: нависшие, литые – в глубокой трещине между бровей, легкие, розовеющие – в последней улыбке.

* * *

И – внизу, на Земле, где сейчас – день, где литые, синие, и легкие, алые облака, и летучими косыми парусами весенний дождь, и снова – солнце – тысячи солнц на согнутых солнечной каплей травинках. Если прав Куковеров и все в сто раз быстрее, так это – в тот же самый бесконечный, вихрем несущийся день, и это – недели назад. Еще целые недели жить тому, кто сейчас мясом для ястреба лежит на желтой глине, и еще *Rhopalocera* не знает, что ему завтра умереть в черную куколку, и не знает Дорда, и в Келбуре мужики еще не арестовали Филимошку, и он даже пока еще просто Филимошка-голяк, а не председатель Филимон Егорыч.

Изба, заткнутые тряпками дыры в дырах окон – и черные дыры выбитых зубов во рту у Филимошки, он пыхает сигаркой, прислонился к косяку, ждет. Там, по дороге, загребая босыми ногами пыль, идет Филимошкина баба; на руках у нее ребенок – взяла чужого, у соседки: когда с ребенком на руках, Филимошка ее не бьет. Но нынче он – особенный, нынче и так не бил бы.

– Ну, баба, живо: на сход со мной пойдешь. Бумага из городу получена – и чтоб бабы все тоже. Нынче, брат, строго!

Перед крыльцом съезжей – спины, от ветра вздутые пузырями рубахи, выдубленные солнцем голенища шей, галдеж, гомон. И вдруг на крыльце – батюшки! Филимошка. Ты куда? тебе что?

– Товарищи, тише! Нынче – строго. Время зря терять нечего – секретаря мне выбирайте.

Над спинами, над головами чубарая голова будто поднята на шесте над всеми – тот самый лешачьего роста мужик, и лешачий голос:

– Это, стало быть, к колесу покупай телегу? А председателя – не надо?

Филимошка:

– Председатель – я! – Грудь колесом, одну ногу вперед выставил, стоит, как буква Я.

– А почему же это ты, скажи, пожалуйста?

– А потому сказано в бумаге: беднейшего. А кто бедней меня – ну, выходи? Ну!

Голова на шесте вертится, скребут руки в затылках: по бумаге – оно будто действительно так, потому беднее Филимошки никого нету.

И Филимошка – председатель Филимон Егорыч, он уже не в избе – он в мельниковом с голландскими печами доме, у него весь Келбуй – вот тут, в кулаке – только сок брызжет: за все свои выбитые зубы, за все дыры, за тридцать голодных годов, за все сразу.

Косые паруса дождей, облака, солнце, ночи, дни – или час, секунда. И Духов день: на пороге, в шашмуре, согнув козырьком руку – глядит мать вслед Дорде, а в Келбуре на съезжей – под замком связанный Филимошка, белоголовые ребята липнут носами к окнам, у дверей крепко стоит мохнатый мужик с винтовкой. Фитиль подожжен, искра бежит к пороховой бочке, и Куковерову кажется – он начинен порохом: это страшно, это хорошо, и только надо все скорее, скорее, чтобы в часы втиснуть годы – чтобы все успеть...

На спинах – вздутые ветром пузыри рубах. Лицом ко мне, к вам – на крыльце говорит

Куковеров, волосы – пепел, чуть курчавый, а слова... Но главное разве в словах? Если у вас сегодня вдруг ожило и, как живой ребенок, толкнулось сердце – вы бьете в сердце, как в колокол, и в ответ гудит в каждом, и вами создано все: все эти мохнатые, ребячеглазые лица, и врезанная в небо ветка сирени над забором, и литая туча с девичьей розовой оторочкой, и грудью в тучу – тревожная ласточка.

Сквозь все это, издали – будто он на колокольне, а головы, руки, шеи внизу – Куковеров слышит:

– Правильно твое! Побаловали над нами, будя! Не маленькие!

Солнце – под гору. В дверях позванивают в жестяные стенки дойников струйки молока, коровы опрокидывают дойки, брыкая задней ногой – и будто это-то вот и есть последнее: бабы начинают выть в голос, слезы теплые, молоко теплое. А на крыльце съезжей – мохнатый гул, из рук в руки – берданки, медвежьи двустволки, вынутые из тайников. Как белоголовый мальчишка везет деревянную на катушках лошадь, каждую минуту оглядываясь – не наглядится, так лешачьего роста мужик на веревочке тянет за собой по пыли пулемет. И в ответ восторженному: «Федька-то, а? Слышь, это у тебя откуда же?» – хитро прижмуривает глаз:

– А это еще в семнадцатом году – у солдат выменял. За два пуда – шинель и вот это самое в привесок...

Когда уже сумерки, все стеклянное и неслышно, накрест, перешвыриваются над улицей летучие мыши – Куковеров входит в палисадник. Там сейчас – почти черные листья сирени и белое до боли платье Тали, ее лица не видно, нагнулась:

– Хотите посмотреть? Я его принесла сюда из лесу... нет, здесь он, здесь, ниже.

Он – Rhoralosega, съёженный, неподвижный мир, готовый умереть завтра. И от этого завтра, от того, что было утром в лесу, от чуть слышной дрожи в голосе у Тали – так вдруг настужь у Куковерова сердце, что нечем дышать, и – смешно, нелепо! – на глазах у него слезы, он молча нагибается, щеку трогает чуть прохладная, в росе, гроздь сирени.

Потом Куковеров рядом с Талей в избе, у окна. Сквозь окно – туча, все ближе, ласточка – грудью в тучу. На столе самовар, пахнет смородиновым чаем. Хозяйка, Бараниха, у двери – сейчас уйдет. И может быть, жутко, что она уйдет, и тогда останутся вдвоем, может быть, чтобы задержать ее – говорит Таля:

– Нет, постой, а ты еще расскажи, как тебя тогда Фили-мошка-то... Ну?

– Ох ты, мой дитенок приятный! Да ты не забыла, а? Ну, как же: пришел кур отбирать – такое тут меня взяло! «Ах ты, – говорю, – мать пресвятая...» – и пошла его чесать. А он обиделся: «Лишаю, – говорит, – тебя голосу на три дня – чтобы три дня у меня пикнуть не смела!» И что же бы ты думал: ведь три дня как немая ходила – вот стервец какой! Ну – пейте с богом, пейте...

Хлопнула дверью – и вдвоем, и уже нельзя смеяться, все – тончайше-стеклянное, и если хоть слово... Где-то на улице – за тысячи верст голос: «Ва-си-лей! Ва-си-лей!» – и от этого еще стеклянней, и оба знают, что сейчас...

Таля:

– У вас папироса... У вас – никогда спичек... хотите, я вам...

Но встать, чтобы пойти принести спичек, она не может, остается сидеть. И будто вот это и есть последнее, через край – больше нет сил. Глотая воздух ступенями, кусками, Куковеров берет в свои ладони ее лицо – мир тихонько, блаженно кружится, покачивается, и в нем навсегда отпечатаны девичьи губы, чуть холодные, как сирень в сумерках.

И тотчас же – стук в окошко, приплюснутый к стеклу нос:

– Эй, Иваныч, Куковеров – ты тут?

И когда окно открыто, слышен с чуть приметным веселым ознобом голос:

– Ну, брат, пошла потеха: советские на нас едут. Пойдем.

Мост из синего неба и стали; свист: фииеаоуу. И еще. Чок – в железо, и мягко – в мясо. Мешком человек присел на низкие перильца моста, мчатся мимо, человек кричит им глазами: «Это же я, это я!» – они мчатся. Не спеша – человек навзничь и головой вниз. Лететь долго, и,

может быть, еще как-нибудь... может быть, нужно только вот так расправить крыльями руки –

...

Всплеск, брызги, радуга на секунду.

У Дорды: «Это – не я, это – еще не я. Надо скорее!»

Но мост – длиною в целую жизнь, в пятьдесят лет, сжатых в страшно тугие секунды, и навстречу стрекот пулемета – оттуда, с келбуйской стороны. Остановиться сейчас на мосту – так же, как застопорить с маху стоверстный поезд. И все же Дорда останавливается. Он со злостью говорит себе: «Ага, ты – так: „Это не я...“ С-сволочь!» – останавливает себя с маху, стоит, стиснув зубы, мчатся мимо. Чок! Еще... Вон – тот рябой, в пыху, рот разинут – может быть, кричит – да, кричит Дорде:

– Что? Ай чмокнула? Нет?

Потная, рябая, мохнатая улыбка. Заряженный ею Дорда опять бежит, и вдруг почему-то от рябого вспоминается мать: руку козырьком к глазам, на пороге (это на миг). Потом несущиеся синие куски – небо сквозь решетку моста. Так уже было однажды – небо и решетка... когда? И как мать – на одну тугую секунду – отчетливо: камера, свод, окно, Дорда на табуретке у окна стоит вместе с другим – голова у этого другого седая, пепел – и от этого Дорде еще больше...

Рев: «Ур-ра-а!» – конец моста, все исчезает, как на экране, когда зажжен свет – и только самое главное: согнуть, сломить тех. Поперек какое-то бревно – через бревно, ур-ра! – как бревно, плашмя глиняная рубаха, с нелепой медленностью прикрывающая затылок руками – через нее, ура! – и вниз по щебяной насыпи – градом, таранами, бревнами, бурей...

Внизу буря вдруг стихает: в кустах бересклета, сирени – неизвестно почему, без команды – ложатся в тени. Дорда минуту стоит, еще весь – пружина, глаза заряжены – сейчас из них посыплются пули в тех, кто лег без команды.

У самых ног – рябой, захватив двумя пальцами край глиняного рукава, вытирает лоб; снизу вверх – потная, рябая, с лукавинкой, улыбка. «За фунт гвоздей – два петуха», – это твердо, заповедь, и тут ничего не поделаешь. Дорда срывает гроздь сирени в росе, быстро обкусывает горькие цветки, в руке – револьвер. Рябой говорит снизу вверх – Дорде:

– Нешто пойти к ним потолковать? Чего так-то, зря? Все-таки – православные. И как у них там, что, взглянем... пригодится... А, товарищ Дорда?

– Хорошо. Все равно. Ну – идите вдвоем. Пойдите.

Дорда быстро пишет в записной книжке, буквы – прямые, высокие, острые. Из кармана штанов рябой вынул платок (когда-то белый), в нем хлеб. Ссыпал крошки на руку и горстью – в рот, хлеб – обратно в карман. Привязывает платок к штыку, сдувая нижней губой надоедно липнущую муху. На листке из записной книжки буквы уже стоят цепью в затылок: «Немедля сдать оружие. Освободить арестованных. Выдать зачинщиков – не менее пяти». Подпись: Дорда.

И вот двое идут, над кустами треплется на ветру платок, когда-то белый; выше темнеет в синеве коршун, ворочая в безруких плечах головой; и еще выше – пока еще невидная, темная над Землею звезда.

Там сквозь голубой лед стекла, как на дне видны какие-то неподвижные фигуры: где-то одиноко на ступенях – будто с разбегу; где-то снопами крепко обнявшихся тел. Спят. Может быть, спят: неизвестно.

И четверо идущих по пустым, гулким, голым залам. Впереди – она, высокая, прямая, мраморная, и со слушающей, по-птичьи наклоненной головой мальчик – дрожит, жметесь к ее ноге. Синеледяные своды потолков нависают все ниже, все тяжелее. Она идет, не останавливаясь. Вот теперь на ходу оглянулась назад, через плечо – и мне видно: брови у нее черно и крепко стиснуты. Она одна знает то, чего не знают трое других, она живет давно, всегда, она знает – и она решила. Что – это еще пока неясно, это как далекий запах гари, как зверь чует над собой черную дырочку дула – и все же от этого никуда не убежать, это с каждым шагом все ближе.

Ступени вниз, на ступенях – человек ничком; правая рука, будто с разбегу, брошена

ладонью вверх: спит? На неслышных, пружинных, как у зверя, ногах мужчина крадется... скачок – схватил поперек тела, поднял – и сейчас же бросил. Тело катится вниз по ступеням, ладонь взмахивает и падает с деревянным стуком – раз и еще раз. Это тело холодное, другое, чем я, и ничего не может мне сделать – я, мужчина, это знаю, и все-таки почему-то надо, чтобы скорее опять рядом живое плечо – она, молодая, теплая, недавняя, моя – тогда дрожь стихает, я могу открыть дверь, я открываю, я – мужчина.

За дверью – блеск колес, спиц: машины – круглые, многоногие, коленчатые, как пауки, – мертвые тела машин. И такие же неподвижные, холодные человеческие тела, сцепившиеся в тугой судороге, друг на друге – как мужчина и женщина. В руках – стынущие в ледяном свете ножи.

– Я не хочу дальше – мы не хотим, мы не пойдем!

Но она, высокая, впереди, она, кто тысячу кругов назад была Мать – идет не останавливаясь, и я, мужчина, иду покорно за ней. Люди, машины, немые толпы книг, где-то на стенах изображения – лица, золото, красное – тысячелетия с неслышным, оглушительным ревом мчатся сквозь меня – и больше нет сил.

Вечер. Огромные луны пригнулись к полу, тени длинные. Четыре раздавленных последним каменным сном тела. Часы, минуты – все равно.

И – движение: приподнимается на локте младшая из женщин, лицом – сюда, ко мне, к вам. Глаза у ней зеленые и светят в полумраке, как разрезанная веслом морская вода, и, как вода, – густые ледяные лучи. Она кладет руку на грудь мужчине, он вздрагивает, отвечает ее глазам: «Да, сейчас», куда-то ползет на четвереньках. Вдруг остановился, голову – в плечи, по-черепашьи. Нет: показалось... Мать спит, спит крепко. Вперед!

Он возвращается. Навстречу зеленым глазам женщины поднята вверх, блестит – бутылка. Две запрокинутых головы, пьют, тела розовеют. Груды у женщины теплы, остры и сладки, она – пахнет, она – шепчет мне. И напряженными мускулами, кожей, губами, телом – я знаю, это так, это справедливо: мне жить – мне и ей, и там есть еще на дне бутылки воздух – это мне, ей и больше никому – больше никто не должен жить.

Взять нож... Но он крепко зажат в чьих-то пальцах, и пальцы ледяные – мужчина отдергивает руку. Верхняя губа его (с чуть заметной ложбинкой) дрожит, он оглядывается и видит: за каждым его движением – пристальные зеленые глаза. Зажмурившись, вздрагивая, он вытаскивает из мертвых пальцев нож; с ножом ползет – годы, целую жизнь.

Длинная, птичья, согнутая набок шея, слепой спит ничком, носом в ладони. Надо целиться вот сюда, справа, где на шее столбиком жила. У мужчины поднята рука, в руке – стынущее в ледяном свете лезвие ножа, и сейчас на темной звезде – в тысячный, в миллиардный, в последний раз прольется чья-то кровь ради – ...

Над Землей солнце мечется в последней тоске, облака набухают кровью все гуще, течет алыми струйками вниз по золоченым шпицам, по белым стенам, по зеркальным окнам дворцов, и красные капли – здесь, на зелени луговых майских трав.

Луг – перед Келбуем. На лугу – сумрачные срубы овинов, узкие бойницы-окна под самой крышей: это – терема, городище. Такие городища – еще вчера, позавчера древляне выдвигали в зеленую степь навстречу дружинам Олега, сыпали из бойниц стрелы, лили смолу.

И древлянское вече: круг – мохнатый, топоры, винтовки, чья-то голова – над всеми, как на шесте, и голова Куко-верова – как пепел, чуть курчавый. Перед Куковеровым – двое оттуда, от советских: один серый, всякий, тысячный, муравей; у другого красная, рябая улыбка, белая тряпочка на штыке, письмо. И подпись на письме Куковерову надо прочитать еще раз – еще – и повернуть вот так, к свету:

– Дорда? Дорда... Погодите-ка: а из себя он какой будет? – по лицу у Куковерова морщины, облака, темные, светлые.

– Он-то? Да таконькой вот – небольшой, гвоздочком. А глаза... ух!

– Бритый? Ну, конечно, ну да: он! – и на одну тугую секунду перед Куковеровым: синий кусок неба сквозь решетку, табурет у окна, на табурете...

Над овином, ворочая в безруких плечах головой – коршун, все ниже. Там, внизу, на чуть сбрызнутых красной росой травах лежит человек, еще недавно был человек, я: теперь ничком, будто с разбегу, правая рука брошена ладонью вверх, желтые мозоли. И рядом – я, орловский, с платком на штые, рябой; и я, келбуйский, с пулеметом, голова на шесте; мы оба смотрим на себя мертвого – там, на травах.

– Да протри, протри полтинники-то свои, погляди, рябая твоя морда: хорошо, а? Трое ребят у мужика осталось да баба брюхатая. Сук-кины дети!

– Ты вот с своим пулеметом – не сукин сын! наших-то на мосту сколько сверзли? Туда же – разговаривает! Молчал бы! Мы, по крайности, за нашу власть, да, а вы за кого?

– За вла-ась! Тебя бы носом ткнуть в Филимошку в нашего – как кот в дерьмо, так небось бы...

– А ну – ткни? Я, брат, тебя ткну-у! – с белым платком штыек – наперевес, ошетиленными глазами – по кругу, с сердитым шмелиным гудом круг смыкается теснее, ближе топоры. У древлян был обычай: пригнуть два дерева, к верхушкам привязать за ноги вниз головой – и потом отпустить деревья...

В руках у Куковерова вздрагивает папироса, письмо Дорды... бритый, да-да, конечно. Что же – встретимся, да, вспомним, как вместе...

Зачем-то вынул часы: не глядя, начинает заводить их, все туже, туже – раз! – пружина лопнула, стрелки, жужжа, кружатся сумасшедше, все быстрее – или, может быть, это внутри, в Куковерове.

Когда часы останавливаются, он прячет их в карман, встает, собирает в горсть все глаза, натягивает их, как вожжи, говорит:

– Так вот – письмо. Предлагают нам сдать, выдать пятерых, самых главных, и все оружие, арестованного нами освободить. Вот. Решайте, как знаете.

Круг, вече. В середине, в траве – тело ничком. Гудят зеленые мухи, тишина. Потом – голос, из-за спин:

– Толковали: у нас пулемет-пулемет. А они вон мост-то за милую душу пересигнули. Да. Ежели эдак пойдет...

Молчат. Куковеров крепче натягивает вожжи:

– Дело ваше. Ключи от съезжей у кого? У тебя, Сидор? Стало быть, пойдешь, выпусти Филимошку, пусть идет сюда, и скажи ему...

На дыбы:

– Филимошку? Не-ет! К чертовой матери! В шею их! Чтоб Филимошка опять? Не-ет!

Куковеров вдруг чувствует, что устал, хочется сесть, садится, рвет письмо. Рябой скидывает свой глиняный блин-картуз, сморкается в него, снова надел – крепко, по самые уши:

– Та-ак, значить. Ну, до свиданья вам. А только зря вы, ребята. Там что-то, а все-таки – православные...

От городища по древлянской степи медленно идут двое. Один – всякий, тысячный, муравей; у другого – рябое лицо, на штые – белая тряпочка. Коршун невысоко: видно, как на безруких плечах вправо и влево ворочает головой. Сквозь бинокль – заряженными глазами Дорда глядит навстречу.

И когда на идущих уже веет из кустов зеленой сыростью, сиренью, махоркой – почти неслышный выстрел из овина, с келбуйской стороны. Рябой, пригнувшись, заячьими петлями – в кусты, а тот – серый, тысячный, муравей – покачавшись немного, валится навзничь, и уже никто никогда не узнает, как было его имя.

Дорда вскакивает – он этого ждал, может быть, даже хотел. Всканивает, весь заряженный, револьверный, пули из глаз – в одного, в другого, в каждого из тысячных.

– Что? Видели? Может, хотите – еще пошлем?

Чей-то мохнатый крик; тишина. Так подрубленное дерево, падая, крикнет – корявыми лапами зацепилось, секунда тишины – и вдруг рухнуло. Крик, кулаки, зубы, бороды, мат – залпом. Кусты трещат, с ревом прет стоголовый медведь, рты разинуты – но никто не слышит, кровь на траве – но это все равно: через камень, через бревно, через человека, через себя.

Только бы добежать, а там по двое, по трое, крепко обнявшись – как мужчина и женщина – как уже было где-то...

С длинным птичьим криком, кружась, падает солнце – и взойдет только завтра, а может быть, и не взойдет. На крыльце съезжей прочно, привинченно стоит Дорда – в кобуре кожаной или даже металлической; револьвер стиснут в руке так, что белеют ногти. Рядом – Филимошка, выпячена грудь, одну ногу вперед: как буква Я. И среди штыков Куковеров, без шляпы, вздрагивает папиросой, улыбкой. Из-за забора напротив – чуть слышный запах сирени.

– Этого – под караул, до рассвета... – Дорда глядит куда-то вверх серых, как пепел, и как пепел – чуть курчавых волос. – А этих пятерых – сейчас.

И эти пятеро – на лугу, возле древлянских сумрачных теремов. Зеленое в красных рубцах небо, в тугой судороге изогнувшийся мост, над рекой – пар, в последний раз. Невысоко, неслышно накрест перешвыриваются летучие мыши. И навсегда врезанные в стеклянное небо пять темных спин, пять голов – одна, как на шесте, над всеми.

– Эй, ты, длинный! На коленки бы стал, что ли. А то – кому в башку, а тебе в сиденье? Неладно выйдет.

Это говорит рябой, в глиняной рубахе, говорит добродушно, просто. Там, впереди – длинный становится на колени. Пять темных фигур, врезанных в зеленое застывшее небо...

* * *

От поднятой с ножом руки – синяя, литая тень на шее, на спине у слепого. Быть может, он чувствует холод тени – вздрогнул, приподнялся, поджав ноги, садится спиной ко мне, к вам, голову чуть-чуть набок, по-птичьи, шарит около себя – где же Мать? – сейчас слепые пальцы коснутся ее плеча, она проснется.

Сверху сверкает нож – вот сюда, справа, где возле уха столбиком жила. И тонкая шея вянет, он, не крикнув, клонится вниз, лицом в колени, согнувшись, сидит, неподвижный; я, мужчина, смотрю на него – широко, кругло.

Теперь вытереть холодные капли пота на лбу – левой рукой: правая забрызгана. И еще только один шаг... Дрожа, крепче стиснуть нож, и только один шаг – к той, кто когда-то была Мать, а сейчас... а сейчас...

Глаза: навстречу – ее глаза. Она лежит, готовая, на спине, не двигаясь, но у нее открыты глаза и нельзя – когда человек человеку в глаза, надо скорее забиться в исподлобье – в самый дальний угол, и оттуда...

Две ледяные луны качаются совсем на краю, сейчас оборвутся вниз. У нее, у Матери – губы свиты в тугое кольцо – как умирающий в куколку Rhopalosega. Она, лежа, запрокидывает голову назад – темная тень вот здесь, в ямке внизу шеи. Трудный, глухой голос:

– Ну, что же? Вот – вот здесь, вот сюда! – она показывает рукой на свою шею.

Нож звенит на пол. Тогда она подымается, мраморно, медленно. Тень от нее растет все огромней, переламывается на стене – в купол – еще выше. Она смотрит издалека, сверху, на застывшие в последнем взмахе машины, на неподвижные, когда-то убившие друг друга тела, на это, тоненькое, неподвижно уткнувшееся лицом в колени – оно уже сливается с другими, с тысячами других, чуть темнее на зеленоватом ледяном небе.

Она подходит к мальчику, приподнимает его голову, целует еще теплый рот, голова у него опять падает на колени. И подходит к другому, к мужчине: у него дрожат скулы, ноздри, верхняя губа с чуть заметной ложбинкой, он – человек. Так же подняла бы его голову и поцеловала бы эти – еще пока живые и теплые – губы, но только проводит рукою по его лицу. И теперь скорее, скорее – чтобы хватило сил кончить... Если б не быть человеком – если бы не знать жалости к человеку!

Открыта дверь в последний зал. Две пристальных, диких луны, положивших морды на пол. Какой-то огромный с делениями круг на полу. Да, это произойдет здесь.

Она, высокая, вступает в круг. Секунду стоит неподвижно, мраморная, как судьба; теперь нагнулась, и сейчас – ...

Луна – земная, наша, горькая, потому что одна в небе, всегда одна, и некому, не с кем: только через невесомые воздушные льды, через тысячи тысяч верст тянуться к таким же одиноким на земле и слушать длинные песни вои.

Таля – в палисаднике, одна, никого. Сейчас под луной почти черны железные листья сирени; ветви сирени согнулись от тяжести цветов: цвести – тяжело, и самое главное – это цвести. Таля сгибается – лицом в холодные цветы, лицо у ней мокрое, и мокрая сирень в росе. Там – еще ниже, на железном, чуть согнутом и связанном паутиною листке – окукленное, мертвое тельце *Rhopalosoma*. От этого неподвижного тельца, как от крошечного камня в воде, быстрые, дрожащие круги бегут все шире, все огромней; глаза у Тали стоят, открытые настезь, как двери в доме, где мертвый, и она в первый раз ясно, вся, видит: другое, тоже неподвижное тело, согнутые пальцы – один желтый от папиросного дыма. И это немыслимо, невероятно – и что-то надо, что-то надо скорее, больше нельзя стоять так и слушать длинные песни вои.

В избе. Хозяйка, взгромоздившись на табурет, зажигает перед образом лампадку, ее поднятые вверх руки – в красном вспыхивают, потухают. Самый простой избяной запах – печеного хлеба, но от этого... от этого...

– Тимофевна, милая, я не могу... ну, вот – как же, ну, как же? Вот завтра – трава и солнце, и все кругом возьмут хлеб и будут есть – а он? а он?

– Что ж, дитенок, живы-здоровы будем – все, Бог даст, помрем. И ты помрешь – ты что же думаешь? А час раньше, час позже – все едино.

Но может быть, прав Куковеров, одно и то же – минута и год, и иногда час – это вся жизнь. Белая, в вздрагивающем красном свете видна Таля на лавке; глаза стоят все так же – широко распахнутые настезь; руки между колен. Минута, час, год.

Встает, быстро, в лихорадке – перед зеркалом. Тяжелые, согнутые тяжестью цветов ресницы и тень. Вытереть лицо чем-нибудь мокрым – полотенцем, чтобы не видно было следов; теперь пальто...

– Да ты что – ай спятила? Да тебя на улице сейчас зацапают – и поминай как звали!

– А может, я и хочу – чтоб сцапали?

Белая под луною пыль. Над забором – черная, острая ветка в небе. От наваленной камнями тишины воют собаки. Знакомое крылечко: столбики с перехватом, на ступенях часовой, винтовка между колен, сидит так же, как вчера сидел тот, келбуйский, – и, может быть, он дремлет? Таля делает еще один шаг.

Часовой вскочил, глаза разинуты, как рот – орет ртом, вытаращенными глазами:

– Куды, куды прешь? Кэ-эк вот чучкнупо башке прикладом, так... Приказа не знаешь – дома сидеть?

Но в руках у нее ничего нет, чуть пригнула голову, загородилась пустыми руками. Рябое под глиняным картузом лицо – разглаживается, затихло. Не спуская глаз – а вдруг... мало ли, что? – часовой стучит в окошко, темным крестом вырезан переплет рамы в красном свете, и, должно быть, там сейчас...

Выходит на крыльцо другой в глиняной рубахе – тысячный, муравей, винтовка. Часовой говорит ему:

– Вот что: постой пока тут, а я эту – к начальству представлю.

Собаки, луна, пыль. С выгона – полный, горький ветер, сохнут губы.

– Эх, кобели-то развылись... Скучают... Ты... тебя как зовут-то?

– Наталья.

– Во-от, черт! У меня жена – Наталья, ну, скаж-жи ты, пожалуйста! Эй, эй, под ноги-то гляди: корова наложила – ножки измажешь... Тут у них коровищи – ух! Тут за фунт гвоздей... Места – вообще! Ты что же – соль, что ли, сюда привезла менять или материю?

– Нет, я тут приехала ребят учить – в училище.

– Господи! Так ты ему – прямо: так и так, ребят, мол, учу. Ничего не будет, право слово. Ты – не бойсь, хоть он и...

– Я не боюсь.

И вот дверь открыта, дыхание – стиснутое, сквозь какую-то тончайшую щелочку между зубов. В раме – в колеблющемся круге свечи – навсегда это лицо, заряженные глаза, острия скулы и губы: нет губ, нет розовой полосы – нет и не будет никогда слов.

Молча, глазами. Потом вдруг у него разрез рта – не там, а гораздо выше, и верхняя губа очень короткая. Слова:

- Приказ знали?
- Знала.
- Так зачем же?
- Чтоб меня привели к вам.

Свеча, нагорая, трещит, от скулы – тени. На столе, на бумагах – револьвер, и два дула – глаза.

- Оружие есть?

Дыхание – сквозь тончайшую щель; стиснутое: «Нет». Он встает из-за стола, на свечке огонь колеблется; минуту – молча. Потом привычно, легко он проводит руками по ее телу, чуть сжимая здесь, на бедрах – где может быть в складках оружие. Тале кажется, что рука у него вздрагивает или это ее дрожь? – у ней сухие губы, и игла сквозь все на один миг: «Это? С ним?» И отвечает себе: «Да, и это, и всё – только бы...»

Не поднимая ресниц, согнутых тяжестью цветов, – спотыкаясь, облизывая сухие губы:

- Я – не то... вы напрасно. Я – потому, что у вас... Я знаю: вы хотите его завтра утром...
- Кого – его?
- Куковерова. Я – я не могу, чтобы он... И я вам – все, всю себя – что хотите! – я буду вам всю жизнь... Я его люблю, понимаете?

Тишина. Свеча, нагорая, трещит. Теперь на лице у него ясно виден разрез губ, верхняя очень короткая, и в ней легкая дрожь – может быть, тени от свечки.

- Я его – тоже люблю.

Громадные – настежь глаза у Тали:

- Вы?
- Да, я. Мы с ним год сидели вместе в тюрьме. Вдвоем жили. Это не забывается.
- Так, значит, вы... его не...
- Завтра я его расстреляю. Не я – ну, это все равно.

Задыхаясь в нагаре, качается свеча, пол, стены. Тале надо опереться руками о стол, нагнуться ниже глазами в глаза, глаза у нее – крылатые, настежь.

Дорда встает – крепко, весь в кобуре; берет револьвер со стола с бумаг.

- Я сейчас иду к нему. Вы будете ждать меня здесь.

И еще раз его голос – издали, из-за дверей часовому:

- Останешься тут с ней, пока я не вернусь.

Тишина. Фитиль – черным крючком, как ястребиный клюв. Сверху – потолок, тысячепудовый, и дальше – небо, пустыни, льды, темная звезда.

Оцепеневшие в последнем взмахе машины и люди, и немые толпы книг, и века – с неслышным, оглушительным ревом: все это, чтобы в конце выбросить сюда, на голый берег, троих последних людей на звезде.

Голый, пустой зал – только огромный, с какими-то делениями, круг на полу и, пока еще неподвижная, черная стрелка. Это – просто, в этом нет ничего, и все-таки – как зверь, дрожа, чует черную дырочку дула – так и они.

Они двое – сюда лицом. Свет лун – снизу и сзади, их лица в тени, на зеленоватом, застывшем небе вырезаны два темных профиля: мужчина – исподлобья, прижатый к груди подбородок, узлы мускулов пониже плеча; и молодая женщина – острия ресниц, губы, только что сказавшие что-то и еще не закрытые.

Теперь та, старшая, кто тысячу кругов назад была Мать, нагнулась. На стрелке – ее рука, мраморная, и мрамор от руки подымается все выше, и кажется – никогда не сдвинуть с места руки. Брови, зубы, всю себя – еще крепче! – чтобы хрустнуло! Движение; стрелка начинает

медленно, со скрипом ползти по кругу.

Это – просто, в этом твое плечо... не бойся, только прижмись ко мне, чтоб твое плечо... не бойся, только не надо туда смотреть, не надо смотреть. Стрелка ползет со скрипом, вот над какой-то цифрой – да, здесь... остановилась. Это – все.

Она, Мать – стоит, прямая, высокая. По лицу у ней облака вихрем – обо всем сразу: о мертвом уже мальчике, о них, о себе, о тысячелетиях, об этой – последней – секунде и о том, что произойдет сейчас.

Натягиваясь все больше, тончайший секундный волосок обрывается, где-то внизу огромный, круглый гул. Все вздрагивает; нелепо подпрыгнув и в последний раз сверкнув – проваливаются две луны; в соседнем зале – цепной лязг и звон сорвавшихся машин; сквозь грохот – крик; и – внезапная тьма, ночь на темной звезде.

Дорда смотрит в широко, сине раскрытые ему глаза, смотрит, как шевелятся у Куковерова губы, смотрит на его палец – сбоку, около ногтя, желтый, прокуренный табаком. Это – человек, живой человек. И вот знать, именно знать, что завтра – ...

Так: будто бы если Дорда только чуть двинется, вот только карандашом по бумаге, то это случится не завтра, а сейчас, здесь – потому что Куковеров из тончайшего, как папиросная бумага, стекла. И Дорда неподвижен – статуя из темного, кожаного, блестящего металла.

– Дай папиросу... – трудный, сквозь сухие губы голос Куковерова.

С папиросой он нагибается над стеклом жестяной лампочки (спичек нет) – красный язык в стекле вспрыгивает вверх, коптит.

– А помнишь, Дорда, как мы с тобой в камере без табаку сидели? Одна папироса – и я хотел, чтобы ты взял, а ты – чтобы я, а потом прибили ее гвоздиком на стене – как память... как...

На платформе – уже пробил третий звонок, и надо скорее – скорее еще о чем-то и еще о чем-то – обрывки. Куковеров курит жадно, на папиросе растет седой, чуть курчавый пепел, в голове у него стрелки кружатся сумасшедше.

– А это: мы с тобой – у окна на табурете, небо – и что-то... Да: трамвайные звонки – и это нам казалось как... как... А сейчас – ты и я... смешно! Я все думал... Вот кружка с водой, жестяная – вот, видишь, тут грязь вверху под рубчиком? Понимаешь – вот я смотрел на нее и думал: она завтра будет совершенно такая же... Там, может быть – совершеннейшая пустота, пустыня, ничего – и, понимаешь, думаю: вдруг увидеть там вот эту самую кружку и вот тут на ней грязь – может быть, это такая невероятная радость – такая... Или увидеть: ползет червяк – больше ничего: червяк.

Дорда сидит, крепко подперев голову, рта у него нет, карандашом чертит на бумаге крест – еще больше – не хватает места, надо снять с бумаги револьвер. Но едва касается револьвера – вдруг какая-то мысль. Слышит: раз! два! три! – как часы в бессонницу – сердце. Да, это будет, пожалуй, самое...

Встал; медленно – к окну; остановился. И спиной – вот где-то тут, между лопатками, хочется даже потрогать это место, там сейчас чуть покалывает – спиной Дорда ясно видит: Куковеров взял оставленный на столе револьвер, теперь поднял. Сквозь окно – небо, пустыни, льды, огромная, синяя звезда, ниже – из крыш чугунной стеной растет туча. Неизвестно почему – на мгновение: мать на пороге, руку козырьком к глазам... Дорда ждет минуту, еще минуту.

И – ничего. Быстро оборачивается, там Куковеров, нагнувшись над лампой, закуривает новую папиросу. Револьвер лежит на столе, как лежал. В тени, под острой скулой у Дорды вздрагивает какой-то червяк. Дорда идет к столу, берет с бумаги револьвер, на лице – внезапно прорезаны красные губы, но не там, а гораздо выше, верхняя губа очень короткая. И слова:

– Ты – идиот, интеллигент! Я тебе это всегда говорил.

– Помню... – улыбка; пепел – седой, чуть курчавый – скоро осыпется, упадет.

– Я бы взял и выстрелил. Это уж будь покоен. Завтра в тебя выстрелю – не я, ну, это все равно.

– Завтра – да. А сейчас ты...

– Довольно, не мели ерунду! Ты, может быть, воображаешь, что я тебе это нарочно подложил? Идиот!

– Ладно. А я, может быть, тебе за эту одну минуту... Слушай: неужели ты не понимаешь, что самое главное...

Сумасшедше кружатся лопнувшие часы, час – секунда. Нет людей, и потому двое – люди, и как после третьего звонка – надо скорее – еще о чем-то и еще о чем-то. На шербатым столе белые трупики папирос, курчавый пепел. У Куковерова морщины возле висков складываются веером, улыбаясь; глаза блестят.

– А знаешь, Дорда? Мне тебя жалко – ну, просто вот... Это, может быть, только сейчас – может быть, завтра я...

Вдруг – это простое, их обоих, завтра: еще невидное, оно где-то катится сейчас огромной световой волной – все ближе. В тени, под острой скулой у Дорды мечется какой-то червяк. Оба молчат, это кажется очень долго. Потом Дорда говорит тихо, глядя вниз, на карандаш:

– Ко мне приходила твоя... не знаю кто. Говорила разную... ну, что тебя любит и там – не помню еще что. Не важно. Я, собственно, поэтому.

Дорда смотрит на крест – на бумаге карандашом – и слышит дыхание Куковерова, медленное, тугое, будто весь воздух для него сразу затвердел кусками. Куковеров молчит.

– Ну? Чего же ты молчишь? Ч-черт!

Дорда вскакивает – к окну; там звезды уже нет, все небо – туча, чугуны. Опять – к столу, где молчит Куковеров.

– Это, может быть, глупо и нельзя, – но все равно: вот хочешь – она придет сюда, к тебе? Я скажу конвойному. Ну? Хочешь?

Воздух – колючими кусками, слов нет. На лице у Куковерова улыбка, облака – светлые и темные: о том, что это – как день или как... – и что это невозможно, нестерпимо. И все-таки кивок головой, чуть заметный: да, хочу.

И когда Дорда встает, чтобы уйти – голос Куковерова, с трудом протиснутый сквозь зубы:

– Оставь мне папирос – у меня нет ни одной. Спасибо. Вообще.

Однажды, давно – последняя папироса была прибита гвоздем на стене. Так было.

От Дорды, от Куковерова, от людей, от Земли – железной громыхающей занавесью туч еще закрыто завтра – и закрыта мертвая, вдруг вздрогнувшая звезда. Там – все черное, ночь. Эта ночь – минута, вот уже проступает небо. Но оно не из зеленого льда, какое было над звездой вчера, позавчера: оно вспыхивает красным – как девушка, которая в первый раз увидела, почувствовала – щеки у ней все горячее, и сердце, жужжа кровью, мчится навстречу – чтобы сгореть, сжечь.

Еще одно какое-то деление, волосок, и, вместо двух лун, прижавшись носом к стеклу, медленно, огромно подымается небывалая луна: красное, косматое, рябое, жестокое, веселое, равнодушное, любопытное лицо. Прозрачной кровью багровеют стены, красная полоса на груди у младшей женщины – это похоже на трещину в чаше – и красные рубцы у мужчины на плече.

Ноздри у него дрожат – как у зверя, который чует еще далекий, неясный запах и, ошетилившись, пятится. Не сводя глаз с новой страшной луны, – он ступает шаг назад, еще шаг – заслонился ладонью. Вдруг стрелой к двери – скорее отсюда, чтобы не видеть, чтобы...

Но уже нет двери, она завалена снаружи кусками расколотых стен – глыбы, груды, горы стеклянного льда в красных искрах, назад нельзя, только – вперед. Куда?

Я одна – я, Мать, живу тысячу кругов – я одна знаю, куда. Я слышу, как со свистом, в сто раз быстрее, мы мчимся навстречу Земле, кружась – и ради этого все, ради этого обречены мною эти двое последних, мужчина и женщина: они еще живы, еще люди.

И я – человек. Если б не быть человеком, если б... Но вслух нельзя, и я знаю: я сейчас улыбнусь ему – вот! – я улыбнулась.

Обеими руками он крепко держит свою бушующую голову, глаза круглы – как у ребенка, как у зверя. Тихо он говорит ей, Матери:

– Что ты сделала? Что это – там, красное?

– Это – Земля. Я повернула к Земле – чтобы мы... Нет, нет, слушай: там, на Земле – воздух, там – люди, мужчины и женщины, и они все дышат целый день, целую ночь – сколько хотят, и там уже не надо убивать, и там...

Губы у него шевелятся – он повторяет за ней слова, как молитву, – на верхней губе у него чуть заметная теплая ложбинка. И уже знать, видеть, как вздернется эта губа в оскаленной последней улыбке, как его зубы...

Вслух:

– И ты... ты будешь дышать – днем, ночью, всегда, сколько хочешь!

Мужчина закрывает глаза – невозможно поверить сразу, сердце стучит; и тотчас открывает, чтобы поверить – чтобы протянуть руки к косматой, прекрасной, страшной Земле – чтобы закричать ей навстречу, как на заре зверь, – чтобы в пьяной радости схватить ту, другую женщину, сжать ее грубо, жестоко, нежно.

Кружась и дрожа, Земля ждет, чтобы ее пронзили до темных недр – чтобы вырвались нетерпеливые бурлящие багровые лавы – чтобы сгореть, сжечь. Дрожа, она закутывает наготу в тучи, льет дождь, обжигающий как слезы – о том, чтобы это скорее, чтобы это – никогда: это ослепительно, это больно.

С крыши – капли о каменный подоконник, и во всем мире двое – Куковеров и Таля – слышат каждую каплю. Лампочка, деревянный стол, на столе – трупики папирос, согнутые тяжестью цветения ресницы опущены вниз – на Куковерова, он на полу, лицом в теплую долину между Талиных колен, где недавно метался червь *Rhopalocera*... И в тишине – капли; от капли до капли – века.

Куковеров поднимает лицо, закрытые глаза, улыбку:

– Капли – вы слышите? До чего огромна кажется капля – или, может быть, не то, но вы понимаете? Я знаю: я их буду слышать всегда – всю свою...

Он хотел сказать: «всю свою жизнь» – и споткнулся. Улыбка белеет, он стоит на коленях молча, потирает лоб вот здесь, над правой бровью – один палец на руке желтый от табаку.

Внутри, в Тале, как живой ребенок, поворачивается сердце с такой болью, что хочется крикнуть и всю себя – что-то, самое невозможное, самое трудное – только чтобы ему этот час или два...

Куковеров сине, удивленно открывает глаза – потому что вдруг слышит ее смех.

– Слушайте – ну, до чего же я глупая! Ведь я же забыла вам самое главное... Я сейчас с ним говорила – с Дордой, он говорит, что завтра... что вообще вас не... Я не помню... я торопилась – он сказал, что вас перевезут в город – он устроит, чтобы...

Глаза у Куковерова – круглые, как у ребенка, – все синее, все шире.

– Но... но он мне – совсем другое – только что... Мы с ним здесь...

– Нет, нет! Потому что я просила, может быть... Я не знаю – он сказал, я же вам говорю!

Папиросу. Спичек нет – красный язык в лампе дрожит и вытягивается вверх. В голове у Куковерова, жужжа, сумасшедше несется, как в часах с лопнувшей пружинкой; выскочившие из клетки слова – друг через друга:

– Да, да, ведь мы когда-то с Дордой вместе... Ему это очень... Вот это вот его папиросы – понимаете? И если... И потом мы бы с вами куда-нибудь... Это очень просто: фамилию можно... Смешно – откуда это? Фамилия была – Пупынин, Пантелей – понимаете? И человек подал прошение, чтобы переменить на «Робеспьер» – Пантелей Робеспьер! Именно, именно: Пантелей Робеспьер!

Тале нужно засмеяться вместе с Куковеровым, потому что если она не засмеется... Одна пустая, страшная, без дыхания секунда, потом смех – кусками, комьями – совершенно сухими, тотчас же рассыпающимся в пыль. Куковеров – опять что-то такое об этом – как они вместе с ней будут... Будут? И больше уже нет сил. Таля кричит:

– Замолчите! Не надо! Я не могу!

Тишина. Капли о камень. Куковеров на коленях, его голова у Тали в руках – вот так,

обеими руками, крепко сжать эту голову и не дыша смотреть, еще, еще – чтобы запомнить его на всю жизнь.

В Куковерове навеки – до завтра – отпечатываются чуть холодные, как сирень в сумерках, девичьи губы. И когда он потом целует сквозь шелк, Таля, кружась и дрожа – дрожат и холодеют руки – всю себя, что-то самое невысказанное – быстро расстегивает платье, вынимает левую грудь – так вынула бы ее для ребенка – дает Куковерову:

– Вот... хочешь так?

Капли – за тысячу верст. Горячей щекой, губами – Куковеров слышит всю ее – и ее спутанные, соскочившие слова:

– Когда он обыскивал меня – мне показалось... Я подумала, что я могла бы и это – да, могла! Я хочу, чтобы ты – ты... Я хочу, чтобы ты оставил во мне себя, чтобы... Нет-нет-нет, это совсем не потому, что я думаю, что завтра... нет! Я же говорю: он сказал мне – я же говорю! Но разве нужно, чтобы всю жизнь вместе есть и ходить гулять? Ведь самое главное, чтобы...

Капли о камень, огромные в тишине. И огромно, легко, как Земля – Куковеров вдруг понимает все. И понимает: да, так, это нужно; и понимает: смерти нет.

Идет к двери, прислушивается, накидывает крючок. Запоминается навеки – до завтра: под крючком на дереве полукруг – это прочертил крючок, качаясь часы, годы, века. И еще: окно уже побледнело, черный крест рамы, тучи, какой-то громадный, далекий – круглый гул все ближе.

Сквозь миллионоверстные воздушные льды, кружась все неистовей, со свистом мчится звезда – чтобы сгореть, сжечь – все ближе. И там – трое последних. Освященные новым, красным, последним светом – они, не считая, жадно пьют оставшийся воздух, пьянеют, дышат так, как здесь, на звезде дышали люди давно, тысячи кругов назад. О, один раз в жизни – не думая, без счету – телом, ртом, грудью!

Мужчина и женщина обнялись тесно: двое – одно. И та, старшая, Мать – над ними, над всем. В красное зарево неба врезан ее профиль, брови и губы крепко сжаты, она мра-морна, как судьба, чуть согнуты под какой-то тяжестью плечи, стоит, ждет. И вот – пол под ногами вздымается, как живое тело, залитые красным, прорезываются трещины в тысячелетних стенах, звон стеклянных брызг – ...

Тишина. В пустынях острые зубчатые тени опрокинутых скал. Зажженные алыми искрами ледяные глыбы стекла, под ними – как сквозь лед на дне – темные груды машин, книг, тел, три мгновенно замерзших, тесно друг к другу, трупа.

В тишине – капли о камень, от капли до капли – века, секунды. В какую-то назначенную секунду – вдруг рушатся тучи вниз, на ослепительно белом – переплет рамы черным крестом, молнии – столбами, сверху – камни, грохот, огонь.

Из ворочающихся, как медведи, встающих на дыбы изб – выскакивают келбуйские, орловские, и все бегут куда-то, падают в горячие трещины. Земля раскрывает свои недра все шире – еще – всю себя – чтобы зачать, чтобы в багровом свете – новые, огненные существа, и потом в белом теплом тумане – еще новые, цветоподобные, только тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы – ...

1923